
АНДРЕЙ РАСТОРГУЕВ

ВОЗРОЖДЕНИЕ НЕЖНОСТИ

Хоть и жили мы с ним довольно долго в одном небольшом городе, видел я его редко. Стихи он читал отворачиваясь — во всяком случае, в тот единственный раз в Коми пединституте, когда я слышал его: извлёк из кармана пару смятых бумажек, разгладил и не прочёл, а, скорее, пробормотал. Что именно, сейчас не вспомню, но помнится ощущение: сначала — раздражение от необходимости напрягать слух, потом — радостное изумление от яркой поэтической находки...

Русский из зырян

Это была лишь одна из тех находок, которые даже не рассыпаны по стихам **Виктора Кушманова** (1939–2004), но вместе с неповторимой интонацией образуют неразделимую ткань, воспроизводящую неброские, но такие притягательные цвета и запахи северной зырянской Руси. И домотканое суровьё, что перемежает в этой ткани нежный травяной и лиственный шёлк — от того же Севера да неровной кушмановской жизни...

*Дали мне чашу испить,
Испытать благодать.
В доме полы помыть,
Рубашки прополоскать.*

*Дали пять книг написать.
Дали в траве полежать.
Дали воды из ковша
Той, что просила душа.*

*Дали спеть с другом про степь
И на коне проскакать.
Даже сковали цепь,
Чтоб к родине приковать.*

*Умыли лицо росой,
Ноги речной волной.
Дали волком повить
По женщине золотой.*

Книг у него в итоге вышло почти втрое больше. Про женщин не знаю — одной из круглых дат, под которые у нас поминают ушедших поэтов и попол-

няют собрания соответствующих апокрифов, ещё не случилось, а сами стихи пищи для пересудов дают немного. Впрочем, это он наверняка о своей матери так сказал, к судьбе которой возвращался снова и снова: “...ей было только двадцать восемь. / Сто раз могилу прятал снег / И тридцать раз скрывала осень...”

Да, совсем молодая... — можно сказать с сочувствием и легким страхом от того, что иногда вытворяет жизнь. Если не знать, что привезли ее, донскую казачку, жену белогвардейского офицера, на Север в телячьем вагоне уже с двумя детьми, которые вскоре умерли. И что второго мужа, коми учителя Виталия Кушманова, от которого она родила ещё троих, раскулачили.

О дальнейшем один из немногих посвященных ему газетных некрологов говорит глухо — “ушла из жизни”. Если произошло именно то, что чаще всего скрывается за этими словами, — куда понятнее и пронзительнее не просто сыновний, а христианский призыв в маленькой поэме “Молитва о спасении”: “Люди... / спасите маму мою! / Разroyте её в сугробах / Тридцать девятого года. / Найдите её в болотах, / В гиблых желтеющих водах...”

Себя, тогдашнего, он, понятно, не помнил. Но очень живо представлял: “...Мать хоронить везли на санках. / На нарах у окна без штор / Ты спал, завернутый в портянки, — / Сын спецпоселка Ниашор...” И так вот, отстранённо размышляя о себе самом, выводил из этого сна свою судьбу: “Чужую маму звал ты мамой. / Женился на чужой жене, / Её ребёнка звал ты сыном. / И о своей родной стране / Ты говорил, как о чужбине... / И жил на свете долго-долго, / Как осуждённый срок тянул...” И обречённо признавал: “Тебе навек твоя отчизна, / Тот спецпосёлок Ниашор...”

Спешно возведённый, этот посёлок столь же быстро, почти без следа канул в Лету. А его сын вновь возвращается к нему — и мыслью, и наяву: “Поселок вымер. Всё ушло во мрак. / Один полуразрушенный барак / Стоит в пустынном поле для бродяг...” А именно туда манят и “молчанье птиц печальных”, и “колея дорог, пропахших иван-чаем”, и “брусничная ботва, затоптанная зверем”, и мелкий “серебряный и тихий” дождь... И именно городская малосемейка представляется тюрьмой, а “...это всё, хоть осени крестом, — / Моё Отечество. Мой отчий дом...”

Странная любовь к отчизне — родовая мета всей по-настоящему русской, российской поэзии. И сказать о себе — “...быть страны прекрасной сыном / ты навсегда приговорён...” — с горечью могут многие отечественные стихотворцы. И посетовать, что “...Россия — громадная страна — / никак не влезет в собственные тюрьмы...”, могут тоже. Но о такой любви к именно Коми краю (“...древний мой, тюремный край... / край печальный и родимый...”) “русский из зырян” Кушманов благодаря своей судьбе написал первым и, может быть, последним: “Как волку не отвыкнуть выть, / Пейзаж, по-северному серый, / Тебе вовек не разлюбить...”

Кони в яблоках

Рождённый, с шести лет росший в детдоме и проживший в этом крае до самого своего конца, он сросся и с зырянской деревней Пыёлдино, где жила его коми бабушка и где “...даже овца / мордой похожа на мудреца...”. И потому вполне имел право упрекнуть вышедших из её “пропахших черёмухою дворов / ...сорок кандидатов наук, / Членкоров и даже профессоров” в том, что “...Выпили соки из деревеньки, / Теперь в деревеньке — ни парня, ни девки...”

Но не в упрёках суть. Сирота, знавший, что жизнь могла и может прерваться в любой момент, он, похоже, воспринимал каждый миг как дар свыше. И тогда не только мать, но и каждая частичка жизни оказывалась драгоценной.

И прояснялось, что “золотая рыжая девушка / По названью — моя страна / Осветила высокое небо / И лесные озера до дна...” И что поэт — “навек... каторжанин / ...горькой и светлой любви” этой милой и ненаглядной страны, чьи свет и вечная мгла полны странною силой. И на неё, что губила и любила, все его надежды. Тем более, если по его молитве донскую казачку Анюту всё-таки удастся отыскать, и её отпустят домой, и поднимется сильное солнце — “и снова начнётся Россия, / обняв позабытую дочь...”

*Золотое детство,
Юность золотая,
Отшумевших песен
Золотая стая.
Отозрело в дреме
Золото колосьев.
Подокралась к дому
Золотая осень.
На душе — не дождик,
А светло и тихо,
Словно я закончил
Золотую книгу.
Но не всё на свете
Отгорело в медь...
Пусть еще потерпит
Золотая смерть.*

Сознательно подражал иногда Кушманов Есенину, или эти мотивы родились из созвучия душ, теперь уже не спросишь. Во всяком случае, собаки у него точно свои: “Рождённый и воспитанный в бараке, / Я помню, звёзды / Навещали нас, / Как добрые, бродячие / Собаки...”. И Полярная звезда тоже оказывается собачонком, просящимся на руки, — как в другом стихотворении щенок, что всю ночь скулил под дверью, а к утру “стал таким, каким хотели. / Он в эту ночь собакой стал...” Это уже наверняка из детдомовского детства, хотя и оно вдруг отзывается яблочным запахом снега и воспоминанием о том, как само это слово — “яблоко” — долгое время ассоциировалось с конями. Ну, не завозили тогда в глубь северной тайги эти плоды, а сочетание “кони в яблоках” в книгах встречалось...

А в 90-е рождается перекличка с Буниным:

*Нет камина и нету вина.
Что с ней стало, не знает страна.
Нет червонца, чтоб нищей подать,
Хорошо бы собаку продать.*

Есть у Кушманова и другие прямые зарисовки того, по его же слову, глухого времени, где “...На всю страну программа “Время” / Страдает, мучается, врёт...” и рэкетир гуляет в ресторане подобно недавнему парткому. “Мой северный, нежный, заплаканный град, / Где чистый твой дождь и густой снегопад?..” — сетует поэт. Однако итожит: “... всё же неплохо — сменилась эпоха!..”

Разруха этой эпохи была тяжела, но, возможно, всё-таки не могла сравниться с испытаниями детства: “... Вот какой обцелованы силой. / Вот откуда мы — дети войны... / Ничего. И такая Россия — / Наши сладкие грезы и сны...”

Судя по его стихам, и в 50-е годы на лесоповале, где “вместе с комарами, / С веселым матом, грустными глазами / Брела в бараки родина моя...”, и на лесосплаве иных рабочих, оказывается, интересовали не только водка и бабы: “... Мы говорили громко о стихах, / как говорят незрячие о звёздах...”. Так что четыре десятка лет спустя все суетливые приметы преходящего времени вновь отступали перед чувством Родины, которая “то ветром... то дождём косым”, что ни день, вспоминала своего последнего сына — единственного наследника “поля, рощи и травы, / И одинокой в небе синевы...”, и снегопада. А сын, которому, кроме всего этого, ничего и не надо, винился перед срубленным деревом, перед разлюбленной женщиной, перед двумя своими жёнами — “И, конечно, виноват / Перед страной родною...”

*...Хожу меж этими
И между теми,
Не умоляя и не моля.
Всю жизнь цепляюсь
За эту землю —
Всё же родная моя земля.*

Эту землю за то, что в ней лежит не вернувшийся с войны муж, целует в одном из стихотворений солдатская вдова. Эта земля в жизни вьедалась поэту в ладони и под ногти, когда он — дважды — работал землекопом на стройке. Эта земля, к которой он “прилип с рожденья”, вправе гнать или обнимать — но её “как чистую молитву, / Никогда от губ не оторвать...”

“...Женщина — лес. Женщина — озеро...”

Второй раз, если верить уже упоминавшимся апокрифам, Кушманов взялся за лопату из-за женщины. Работая в отделе пропаганды и агитации республиканской молодёжной газеты, отправился в командировку писать о передовиках производства: “... Я был рабом двух областных газет. / Писал, что скажут, честно, не для денег...” Но, заехав в одну из деревень, написал отнюдь не восторженный, а сочувственный материал о девушке, которая с покрытыми шрамами руками и распухшим от мороза лицом изо дня в день по узкой тропке ходит с вёдрами к реке за водой, чтобы напоить три десятка коров...

Сочувствие обернулось обвинениями в крамоле и увольнением — шёл уже 1964-й. А в стихах о женщинах и о любви к ним — осталось и обратилось нежностью.

*Что называется нежностью —
Степь, или лес, или сон?
Вы целовали женщину,
Промокшую под дождем?
Что называется нежностью —
Поле, июль, иван-чай
Или на стуле забытая
Печальная мамина шаль?..
Что называется нежностью —
Ветер на подоконнике?
Может, в вечернем тумане,
Как боги, бредущие кони?..
Как жалко, что нежность нельзя
Выучить наизусть...*

Благодаря лесному ветру, что дал ему песню “на радость и погибель” и, как дерево, одел его листвою, поэт видит эту нежность плывущей в воде женщиной. А женщина, выходящая из воды, “От солнца золотиста и прекрасна. / Ее ласкают травы, ивняки, / Она так хороша, что даже страшно...”

Видя женщину, чьё утро только начинается “и что готовит ей день — неизвестно”, поэт молит: “Дай ей Бог хоть немного блаженства...” Ведь Бог опять же “... с нежностью и болью, / С сияньем синих глаз, / С щемящею любовью / Смотрит из тьмы на нас...”. Хотя и “не понимает, / откуда мы? Зачем? / ... Он выше всяких судей, / Но вот одна беда: / Он на земле, где люди / Не будут никогда...”

Плачущей синеглазой женщиной предстаёт река Сысола. Простое имя любимой поэт проносит на поцелуе, отыскивает в овраге, “в диких зарослях черёмух, / в старом брошенном бараке, / на иконах получёрных, / и в бродячей пляске ливня, / и на пятке у ребенка... / На белеющей берёзе...”. И снова отголосок тревоги и почти животной жажды: “... В тишине глухой поволчьи / Я твоё провою имя...”. Ведь поэта “... буквально трясёт от желанья / к единственной женщине русой, / в сандалях на босу ногу, / пропахшей цветами насквозь...”

Но есть и “... желание заплакать, / если нежно глянешь ты...”. И ревнивое предостережение тому же ветру, уже весеннему: “... не хмелей, / когда ты волосы целуешь / у скромной женщины моей...”. И преклонение перед деревенской дурнушкой в сапогах и телогрейке: “Боже мой, и откуда в ней сила, / Чтобы жить. Подпирать небосвод. / Но живёт. Ещё кормит Россию. / Иногда даже песни поет...”

Явно ощущая избыток жёсткости и жестокости в окружающем мире, поэт словно стремится залить его волной нежности, рождённой им самим. Весь мир — лес, озеро, снова река в солнечном блеске, небо, звёзды, снег, дождь, медовый запах, слёзы и радость — оборачивается женщиной:

*...Женщина — жизнь. Женщина — Родина,
С зеленью ласковых ивовых кос.
Голос её: — Где ты, мой родненький? —
Всё ещё слышит распятый Христос.*

И с “рыжей, перезревшей в девках” поэт говорит о рыбах, живущих в речной глубине, и о том, как лось признаётся в любви лосихе. И летом, “облепленный птицами, праздничный весь”, чувствующий себя юным и сильным, предлагает другой: “...Живи ты в траве все лето / и спи на моей руке...”. А на исходе лета восклицает: “...Ах, какая осень, Боже, / как любовь моя...”.

“И пальцы тонкие её...”

Когда идут тёплые дожди, “Собирает нектар свой пчела, / Пот на борозду пахарь роняет...”, / жизнь светлеет и “Если ранит, то светом лишь ранит...”. Хотя, говорят, сам Кушманов ранил, бывало, и словом, и делом. С одной стороны, трудно ожидать, что детдомовец может оказаться облаком в штанах. С другой — и впрямь “Очень быть трудно поэтом / Там, где народ молчалив...” и где по земле идут какие угодно люди — сытые, глупые, умные и трижды злобные, а добрые “невидимо прячутся” в деревьях или в траве.

Вот, может быть, и он прятался, беззащитно открываясь только в стихах. И, благодаря жизни за то, что была “умней прокурора и добрее Кремля”, удивлялся: “Чем горе страшнее, / Тем сердцу больней... / А Родина, странно, / всё милей и милей...” И сквозь рваные одежды этой жизни, смеющейся “сквозь лицемерье и рваньё / ...целовал, что мне осталось, / её угрюмость и усталость, / и горечь сладкую и радость, / и пальцы тонкие её...”. И подсказывал девушке — может быть, той же рыжей, а то и самой стране: “Не горюй и не плачь, потерпи, / Лучше новое платье купи... / Засияй вся от пят до лица, / Пусть не будет на свете конца / Невезеньям проклятой любви — / Погорюй и поплачь. Поживи...”.

По его стихотворным словам, записанным “в цветных зелёных травяных тетрадах”, он и сам всё время слышал мамино: “А ты терпи, сынок...”. И сам над холодной, пропахшей цветами водой и под дальней звездой над чистыми лесами, внимая стеклянному звону осин, перед озябшей рябиной и печальной ситцевой и сатиновой синью озёр говорил себе: “Но это грусть твоя и родина, Кушманов... / Под свой неслышный вой целуй траву и листья. / И снова, дорогой, живи. Светло. И чисто. / Живи, когда в душе и путано, и сложно. / Живи, когда уже и жить-то невозможно...”.

И заклинал остающихся: “...Жизнь коротка, жизнь коротка, жизнь коротка, / Жизнь коротка. Любовь еще короче...”. И снова троекратно: “...жизнь коротка. / Но этого никто не понимает...”